



Ф. СТЕПУН

П. Я. Чаадаев

Издание книгоиздательством «Путь» сочинений и писем П. Я. Чаадаева, вышедших под редакцией М. Гершензона (пока только 1-й том), представляет собою, вне всякого сомнения, очень важное литературное событие. Как бы ни относиться к Чаадаеву, отрицать высокий удельный вес его философии и всего его образа решительно невозможно.

Рожденный еще в XVIII, но выросший уже в XIX столетии, он своеобразно сочетал и примирил в своей оригинальной личности заветы и тенденции просветительской эпохи с новорожденными чаяниями и чувствами романтизма.

В юности блестящий гвардейский офицер, общественник, однодум и будущий декабрист; затем несчастный скиталец по Европе, мистик в духе Юнг-Штиллинга и Экартсгаузена и душевно почти совсем больной человек; по возвращении в Москву — вначале добровольный затворник, избегавший своих знакомых, а потом, до конца своей жизни, центральная фигура Москвы, «почетный гость гостиных и салонов» и «завсегдатай Английского клуба»; известный строгим изяществом своих манер и своего костюма светский человек, с лицом нежным и бледным, как бы из мрамора, без усов и бороды, с голым черепом, с иронической и вместе доброй улыбкой на тонких губах, с холодным взглядом серо-голубых глаз, и одновременно кабинетный ученый и мудрец, ментор и наставник, блестящий и вдохновенный оратор; меткий, игривый и саркастический в дружественной беседе, аподиктичный и несколько напыщенный в большом обществе, гипнотизирующий, наставляющий и подчиняющий в излюбленных им беседах с лучшими женщинами своего времени; в конце же концов всю свою жизнь глубоко одинокий человек и мыслитель, скрывавший за личиною привычной холодности, вежливости и серьезности сдержанных жестов и ровного тихого голоса гро-

мадные страсти и испепеляющие внутренние волнения, — вот Чаадаев, каким его рисуют современники, каким его нарисовал и М. Гершензон*.

Чаадаев жил в Москве, отрезанный от славянофильства своим западничеством и католичеством, а от западничества — своим консерватизмом, верующим не в парламентаризм, но в «нравственную гениальность», а также и своею фанатическою религиозностью, — жил для большинства как явление большое и оригинальное, но, в сущности, неуместное и никому не нужное, как гениальное недоразумение, как излишняя роскошь.

Сущность учения и деятельности Чаадаева сводится, как известно, к философскому обоснованию и проповеди католичества. Что же привело пожизненно оставшегося в православии Чаадаева к его католической философии? Думается, что мотивы крайне сложны и очень разнообразны. Прежде всего нужно, конечно, отметить, что упор чаадаевской философии в католицизм глубоко характерен для той эпохи, в которую развивалось все его учение. Статьи Новалиса («Еуропа»), грезы Вакенродера, последний период Фридриха Шлегеля («Philosophie des Lebens»), переход этого вождя романтизма в католицизм — все это явления того же порядка¹. Причины, толкавшие философию романтизма в лоно католической церкви, вполне понятны.

Психологически романтизм — наследник «Sturm und Drang'a»² — представляет собою восстание против традиций и законов, против всяких форм творчества, т. е. представляет собою проповедь безусловного и всестороннего освобождения личности. Но такая уж сущность психологии освобождения (основанная на отрицательном характере понятия свободы), что освободиться до бесконечности нельзя. Во всяком освободительном движении неминуемо наступает момент, освобождающий освобождающуюся душу от психологии пустой свободы, т. е. момент, выясняющий, что безусловная свобода немислима, ибо она мыслима лишь как зависимость от условного, преходящего, случайного, т. е. не как свобода вовсе, но как злейший произвол. Такой момент наступил и для романтизма. Его бесконечная жажда свободы обернулась как бы против себя самой и свободно поклонилась *в духе* зависимости от бесконечности (идея католицизма), а *на практике* — бесконечной зависимости (эмпирия католицизма).

Такой же путь от анархизма к церкви описала и систематика романтизма. Основная идея романтизма есть идея единства и целостности, т. е. идея, которая хотя и построает понятие лич-

* Гершензон М. О. П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление. СПб., 1908.

ности (только цельный человек заслуживает названия личности), но отнюдь не исчерпывается им, ибо каждая целостная личность, духовно осязая рядом с собою другую целостную личность, естественно стремится объединиться с нею в каком-нибудь *сверхличном единстве*, в какой-нибудь *сверхличной целостности*. Естественно, что для метафизически и религиозно настроенного романтизма таким объединяющим и собирающим началом стала идея католической церкви.

Все перечисленные мотивы определенно звучат в философии Чаадаева. Поскольку он проповедует идею целостности и единства традиционализма и историзма, религию — как вершину научного и художественного творчества, церковь — как единственно правильную форму социальной организации, нацию — как свершительницу вполне определенных исторических задач, постольку мы имеем дело с типичным романтиком. Но типичный романтик, Чаадаев все же не типичный *русский* романтик. Он не пошел широкою дорогою русского романтизма, не протянул руку Одоевскому, Киреевскому, Хомякову, не стал славянофилом, проповедником православия. Что помешало ему вступить на этот путь? Думаю, что как раз те стороны его духа, которыми он, несмотря на весь свой романтизм, был так глубоко связан с типичною психологией просветительской эпохи. Был в Чаадаеве, во-первых, вполне определенный социально-политический интерес к человечеству, был какой-то трезво-практический, типично просветительский утопизм. А потому он и от христианства требовал, чтобы оно «содействовало учреждению на земле совершенного порядка». Он настолько сильно ощущал христианство как «пластическую стихию этого мира», что легко и сознательно соглашался даже на некоторое его искажение организуемою им земною жизнью. Существенное свойство христианской религии заключалось для него в «умении сочетаться, когда это нужно, даже с заблуждением, чтобы достичь цельного результата».

К католической церкви Чаадаева влекла, таким образом, прежде всего ее громадная организаторская распрядительность, ее социально-культурная экстенсивность.

От православия отдаляла его мистическая интенсивность, его монастырская глухость, его культурная бездеятельность; «оставаясь бесплодным, оно (православие) только медленно струилось в одиноких сердцах за толстыми монастырскими стенами, в бесконечных и дремучих лесах».

Но, кроме социально-практического уклона всего его духа, жила в Чаадаеве и другая типично просветительская черта: определенный и последовательный рационализм, страстная предан-

ность философскому построению и, как он сам говорит, хотя и грубое, но «отвлеченное» чувство истории. Ясно, что этот рационализм, так же как и практицизм, должен был содействовать его увлечению католицизмом. Как раз то, значит, что так отталкивало Киреевского от католичества, бесконечно влекло к нему Чаадаева, он был определенным поклонником острого папского меча и отточенного монашеского силлогизма.

Система Чаадаева, поскольку она выясняется нам из дошедших до нас «Философических писем», «Апологии» и частной переписки, состоит из следующих монументальных положений. Исход человечества — в грешном отпадении от Бога. Задачи человечества — в уничтожении личной и национальной самостности», т. е. в возвращении к Богу. Свершить это возвращение путем личных, самостоятельных усилий человечество не может. Оно возможно лишь в лоне христианской церкви. Христианство же есть не только некое учение, но и начавшаяся с появления Христа и ни на минуту не порывавшаяся с тех пор личная, историческая и космическая связь Бога и Его творения, Бога и человечества. Согласно «воззванию» Спасителя: «Отче, да будет едино, яко же и мы», — может быть только один подлинный путь соединения Бога и человечества. Этот путь есть путь католической церкви.

Эти основные положения освящают для Чаадаева всю историю человечества. Они определяют для него смысл и ценность эпох и народов, политических событий и культурных творений.

Эту работу разграничения и оценки «отвлеченное чувство истории» Чаадаева производило с какою-то изумительной определенностью и распрядительностью. Читая его «Философические письма», невольно чувствуешь в его мистическом постижении истории какой-то рационалистический механизм; почти видишь, как глубоко работают его, не в мозгу, но где-то в душе схороненные, силлогизмы, какие-то своеобразные силлогизмы чувства, незаслуженно вознося к свету одни явления жизни, своевольно сводя в могилу другие. При этом суждения и оценки Чаадаева опускаются на все события и облик истории человечества даже и тогда, когда он безусловно не прав, с резко-полновесною убедительностью и какою-то клеймящей четкостью. Таковы нарисованные им образы Греции с ее «противным величием и ужасными добродетелями», с ее «нечистой красотой, обожествлением греха и победою чувственности»; протестантизма, «этой проказы на теле христианской церкви», и, наконец, России, «этой страны искаженного христианства, беспомощной и темной жизни, не знающей центральной мысли и единящей воли, страны,

судьба которой протекла где-то на темных окраинах всемирно-исторической жизни, страны великих географических размеров и малых духовных дел, страны, не знавшей ни одной своей мысли и исказившей все чужие, бесконечно растущей, но не зреющей, себе самой чужой и одинокой в мире».

И все-таки проповедовавший всю жизнь католичество — церковное, философское и социальное, — Чаадаев сам остался до конца своей жизни православным и от России никогда не требовал перехода в католичество. Как у Парменида с его метафизикой неподвижного уживается гипотетическая физика движения, так у Чаадаева рядом с его католической метафизикой уживается какое-то гипотетическое и эмпирическое признание великой истины православия. Связь между католической проповедью Чаадаева и его признанием православной России кроется, конечно, не в логической последовательности его историко-философского построения, но в той психологической необходимости, которая его «отвлеченное чувство истории» сейчас же превратила в конкретное историческое чутье, как только мысль Чаадаева вплотную подошла к проблеме России.

Этой непоследовательностью, в которой проявилась великая мудрость чаадаевского построения, держится его историческое значение, значение звена, сковывающего и примиряющего западничество и славянофильство. Вместе с западниками, но углубленнее, чем они, видел он в Европе судью и совесть России, вместе с славянофилами, но напряженнее и тревожнее, чем они, ждал он великого слова России, ее откровения от ее собственных православных глубин.

